

---

# К биографии Н.А. Бобринского

12 апреля 1960 года

Александр Федорович Котс

«Wus du ererbt von deinen Vätern hast, —  
Erwirb es, um es zu besitzen!»

«Что ты наследовал со стороны отцов, —  
прибери его для обладания!»

— Schiller.

Осень 1900 года. Москва. Небольшой особняк графини В.Н. Бобринской, известной о ту пору общественной деятельницы.

Лакей при входе в форменной одежде, между тем как обстановка комнат — более, чем скромная.

Первокурсником — студентом я прошу лакея доложить Варе Николаевне (графине) о моем приходе по личному ее приглашению.

Встреченный Варварой Николаевной — простой и обаятельной в обращении, поднимаюсь вместе с ней в еще более скромные «антрисоли», занимаемые ее сыновьями.

Двое мальчиков: младший Александр лет 8, впоследствии геройски павшим офицером-пехотинцем в первом же бою империалистической войны. Старший, Николай, лет десяти. Ему посвящены последующие строки.

— «Вот, Коля, Александр Федорович, такой же, как и ты любитель птиц. Ты будешь с ним по Воскресеньям заниматься. Он тебе покажет, как составлять зоологические коллекции и как научно пользоваться ими...»

«Мне хотелось бы — добавила Варвара Николаевна, обращаясь ко мне, чтобы Коля впоследствии стал профессором!»

Не часто пожелания матери так совершенно исполняются в реальной жизни!

И особенно, когда, как в данном случае, имелись внешние условия, таившие угрозы для их выполнения.

В самом деле. Если без громадных средств, имевшихся в распоряжении авторов, подобных Гульду, Дрессеру и Элиоту невообразимы их чудесные научные фолианты; если по признанию **Дарвина** без материальной обеспеченности он не смог бы выполнить задачи своей жизни, то естественно спросить: а сколько состоятельных людей погибло для идейной жизни из-за материальной обеспеченности, открывавший легкий доступ к жизни, менее тернистой, чем призвание и путь ученого? чем служение науке, не сулящей материальных выгод?

Правда, что на фоне жизни состоятельной своей родни, весь жизненный уклад дома Варвары Николаевны, а дом ее всецело находился под ее «эгидой» (муж ее граф А.А. Бобринский высоко образованный, учившийся в Университете Кембриджа и обаятельный в общении человек, жил больше интересами к античному искусству..) отличался поразительным демократизмом и пренебрежением к деньгам: все значительные средства, посылаемые Варваре Николаевне с юга ее матерью — богатой землевладелицей, почти всецело уходило на дела благотворительные: на помощь голодающим, работу в тюрьмах, на организацию «ночлежных Домов» для бедноты «Хитрова Рынка» на организацию Рабочих Клубов и устройство деревенского театра.

Но, конечно, самым главным и решающим условием осуществления материнского желания — видеть в ее Коле в будущем «профессора» — было его стихийное влечение к живой природе в ее высших представителях.

Сам фанатично преданный любви к пернатым с самых ранних детских лет, я чувствовал, что, бывши десятью годами старше моего ученика, я уступаю ему в беспредельной преданности нашим любимцам.

Помню, как сейчас, хотя прошло с тех пор шестьдесят лет, то беспримерное усердие, которое вносил мой ученик в бесхитростную технику изготовления птичьих «тушек» и то старание, что вносилось им при заполнении «этикеток», несравненно большее, чем при писании школьных ученических работ.

За время пары лет нам удалось пройти подобие элементарного «Зоологического Практикума», проделав вскрытия главнейших представителей животного царства. И, однако, первой подлинной любовью Коли оставались все же **птицы**.

Таково было первое мое знакомство с Николаем Бобринским. Доселе помню его милым темноглазым мальчиком, почти еще ребенком, в черной курточке с ремненным кушаком, не слишком бойким, кроме случаев, когда живые птички заменяли их недвижимые останки.

Помню, как однажды, он погнался за такой пичужкой, вылетевшей неожиданно из клетки, именно большой синицей как среди поднявшейся суматохи по ее поимке, птичка умудрилась выскочить в одну из смежных комнат, занятой как раз в этот момент собранием членов Крестьянского Союза, (организованного самой графиней). Не смущаясь многочисленным собранием, мой Коля бросился ловить беглянку, среди ног сидевших, совершенно не считаясь с вызванным тем самым перерывом конспиративного собрания.

Мелкий факт, но не лишенный некоей симптоматичности! предвосхищая будущий аполитизм Николая Алексеевича, всецело занятого лишь своей любимой зоологией и, в частности, любимыми пернатыми.

Так продолжалась наша обоюдная симпатия и к птицам и к Воскресным встречам, без особой близости вне этих встреч, когда в середине лета 1905 года Коле Бобринскому довелось значительно упрочить свое юное призвание.

Ввиду закрытия московского Университета в связи с тогдашней Революцией, мне удалось впервые, ранней весной 1905 года выехать за границу для ознакомления с зоомузеями Западной Европы и работы над морской фауной по лаборатории приморских станций Вилла-Франки (южной Франции) и Гельгоlanda, островка в Немецком море.

К величайшей моей радости, работая в лаборатории последнего, я получил извещение, что Коля Бобринский вместе со своим учителем (ныне покойным прежним одноклассником моим Н.А. Сильверсваном) собираются, во исполнение желания графини Бобринской, проехать в Англию в целях ознакомления с ее естественно-научными музеями под моим личным руководством.

А поскольку Гельголанд лежал на линии рейса в Лондон, наша встреча намечалась именно на этом острове, что дополнительно оправдывалось тем, что именно для орнитологов он пользовался давней славой по имеющемуся на нем музею имени Генриха Гетке, 40 лет усердно наблюдавшего пролеты птиц над этим островом.

Узнав о предстоящей встрече с Колей и его учителем, я принял меры для обеспечения их комнатой в том самом домике, где проживал я сам. Поскольку же то был разгар сезона для курортников, я лишь с трудом мог убедить мою хозяйку в выгодности оставления за мною комнаты для ожидаемых гостей и то лишь после сообщения, что среди них имеется мне хорошо знакомый юный граф.

Заслышав о таком высоком титуле, моя хозяйка обомлела и подобострастно стала ожидать приезда титулованного постояльца.

Трудно описать ее негодование, когда на место ожидаемого ею «графа», я представил ей подростка-мальчика, опоясанного ремешком и в черной куртке со следами пятен, причиненных масляными красками: сучая во все время перехода от Кронштадта и до Гельгоlanda, Коля принимал живейшее участие в занятиях матросов по окраске парохода.

Лишь хорошая оплата комнаты, отчасти примирила огорченную хозяйку с нанесенной ей обидой от введения ее в заблуждение по поводу «мнимого графа», невозможности хвастнуть им перед прочими хозяйками.

Рассказанный здесь эпизод невольно побуждает меня, забегаая далеко вперед, поведать о другом, более красочном и относящемся ко времени участия Николая Алексеевича, уже сложившимся ученым, в одной из его среднеазиатских экспедиций.

Готовясь к названной поездке, Николай Алексеевич не сумел, вернее и не захотел, достаточно надежно обеспечить себя нужным одеянием, почему во время путешествия довольно скоро обнаружилось, что часть походного костюма, именно брюки, совершенно непригодны для ношения.

Ни мало не смущаясь этим, Бобринский велелшить на прохудившиеся места солидные заплатки и при том за неимением другого материала, вырезав куски дорожного мешка.

Одевшись в этот неакадемический «Эрзац» ученый наш с успехом продолжал свои исследования фауны края.

Лишь однажды, будучи опрошен местным жителем, действительно ли среди участвующих в экспедиции имеется и «граф», Бобринскому на его слова, что он и есть тот самый граф, пришлось услышать малоуважительную реплику: «не ври, графы не ходят в штанах из мешковины!»

Обращаясь к самой жизни моей с Колей Бобринским на Гельголанде, не могу не рассказать о мелочном, но характерном случае.

Среди достопримечательностей острова, построенного целиком из красного песчаника, был небольшой утес, на выступах которого гнездилась небольшая группа «Кайр», небольших и скромных по окраске птиц, тех самых, что составляют основную массу населения так называемых «Птичьих гор» или «Базаров».

Помнится, как проезжая в лодке мимо этого утеса Коля усмотрел у основания его одну из этих птиц, которая упала со скалы и неспособной оказалась ни к полету, ни к движению по воде.

Увидев эту птицу Коля возгорел желанием достать ее и, выждав времени отлива, двинулся вдоль узкой кромки, обрамлявшей основание утеса и, рискуя быть застигнутым волной прилива, подходящего вплотную к острову, вернулся с торжеством, имея на руках трофей, красующийся и поныне в Дарвиновском музее.

---

Неожиданной поимкой кайры, Посещением Музея имени Гэтке, посвященного залетным оперенным странникам, случайно посетившим островом, да скромного Аквариума, исчерпывалась польза пребывания на Гельголанде и на очереди было посещение Лондона, этой конечной цели Колиного путешествия.

Перефразируя слова несовременного поэта, мы могли тогда сказать:

«Нашей мечтою был Музей Британский  
И он не обманул нашей мечты!»

---

Лондон... древняя столица «родины Орнитологии», поскольку ни в одной стране земного шара интересы к миру птиц, и вообще животных, не присущи в такой степени, как Англии.

Суровый, мгlistый при обычных и традиционных описаниях, Лондон встретил нас приветливо и солнечно.

Остановились мы в одном из многочисленных пансионатов для приезжих («Боардинг- Хауз») и здесь один забавный случай, примыкающий к уже описанному, заслуживает быть попутно упомянутым.

Во время первого же завтрака (так называемого «Ленча») вместе с прочими гостями, пожилая англичанка, пользуясь свободой общения среди участвующих в «табль-д'оте», пораженная («шокированная») костюмом Коли, его черное, но опрятной курточкой, спросила меня, указывая взглядом на него: «Хи из а нигилист?»

Бедный родитель Коли, рано скончавшийся граф А.А. Бобринский, такой же обаятельный, простой в обращении, как и его жена, когда-то, в молодости, бывший «демонстратором» (ассистентом) в Кембриджском Университете (о чем он не без гордости мне сообщал) не думалось ему, что его Коля, его первенец, будет на родине Шекспира заподозрен в «нигилизме»!

Справедливость, впрочем, требует сказать, что кроме только что описанного случая, на внешность одеяния Коли в Лондоне не обращали ни малейшего внимания, невпример от жителей Германии, не исключая и Берлина, — этих неисправимых провинциалов.

Обращаясь к основной и главной цели нашего Лондонского пребывания, должно сказать, что все оно почти всецело посвящалось посещению Британского Музея, говоря точнее, Естественно-Научного его Отдела, размещенного в особом и великолепном здании на улице Кромвеля в южн. Кенсингтоне.

Изо дня в день, в течение доброго месяца, мы с Колей первыми входили в величавые «романские» хоромы Кенсингтонского Музея, чтобы едва ли не последними его покинуть.

Весь животный мир со всех концов Земли в нем был идейно претворен: плод необъятного труда и знания.

И вот, охватывая ныне, по прошествии более полустолетия, итоги тех далеких, незабываемых дней под сводами Британского Музея следует отметить их весьма неодинаковую роль для жизни каждого из нас двоих, для Коли и меня.

Романтика многообразия и красоты живых существ и пафос, вложенный в научное их познание, конечно, захватили нас обоих, но реальные итоги посещения Британского Музея отразились в нашей жизни далеко неодинаково.

Для пишущего эти строки — давши повод к основанию Дарвиновского Музея на основе материала, уже ранее собранного.

Для Коли — лишь повысив прирожденное его влечение к познанию животных, без малейшего стремления к вещному, стабильному, «музейному» их закреплению.

Но и там, и здесь — задатки для того, или иного жизненного применения картин и образов, в нас зароненных Лондоном, уже имелись в нас — и Лондон, и Музей Британский оказались только в роли мощного идейного «прожектора» нам осветившего пути и цели нашего скромного грядущего.

В разное время вернулись мы на Родину.

Мне предстояло кончить Университет, Коле — гимназию. Достоинство быть отмеченным, что на самом учении Коли в Средней школе заграничная поездка его не осталась без влияния, поскольку самая поездка эта продиктована была графиней Бобринской с проникновенным тактом воспитателя и педагога.

Накануне путешествия, весной того же 1905 года, Коля «провалился» на одном из гимназических экзаменов.

Можно уверенно сказать, что всякая другая мать не вздувала бы поощрять такую неудачу заграничной поездкой.

Но не то — Варвара Николаевна.

Поняв, что эта небольшая неудача угрожала бы ослабить Колино влечение к науке, и что обеспечить в будущем его направленность к идейной жизни можно всего лучше, показав идейную культуру на высоких, ярких образцах, — Варвара Николаевна посылает сына в заграничную поездку и при том в качестве туриста, но для изучения Британского Музея.

Таким образом, обоим нам — и Коле Бобринскому и мне, предстояло оправдать по возвращении на Родину идейно-вдохновляющие стимулы, внушенные далеким Лондоном.

И лишь поскольку дело моей жизни — основание Дарвиновского Музея, неразрывно связано с именем Варвары Николаевны, я, вопреки тому, что настоящий очерк посвящен всецело ее сыну, Николаю Бобринскому, почитаю своим радостным моральным долгом наперед коснуться роли его матери, графини Бобринской, в первые годы жизни моего Музея.

Выражаясь языком гротеска, можно было бы сказать, что в продолжении долгих лет Музей имени Дарвина поддерживался только в меру включения в число «клиентов», или «опекаемых» графиней Бобринской,

лишь в меру интересов ее к моему Музею, интересов, направлявшихся дотоле «голодающим» и «босьякам Хитрово Рынка».

И хотя самые первые шаги по созданию Музея исторически восходят далеко назад (1896 г.) и опирались о «карманные деньги» мне даваемые моей матерью из ее заработанных средств от небольшого дела; хотя несколько позднее бюджет повысился продажей чучел моей собственной работы, а значительно позднее от давания уроков в состоятельных домах и переводов диссертации на иностранные языки, не говоря о времени по окончании Университета и солидных гонораров в Высшей Школе, ухививших целиком на нужды моего Музея, — в продолжении долгих лет Варвара Николаевна регулярно, безотчетно, субсидировала Дарвиновский Музей, особенно, когда дело касалось приобретений из-заграницы. А в тех случаях, когда мои музейные вожделения превышала временно наличные ресурсы и возможности графини Бобринской, как помнится, для приобретения из-заграницы чучела огромного Горилла — я через посредничество Варвары Николаевны получил потребные **три** тысячи рублей (в тогдашней золотой валюте!) от графини **С.В. Паниной**, известной по своей общественной работе в Петербурге.

Таким образом все первые 15 лет существования Дарвиновского Музея протекали под финансовом и нравственным «Протекторатом» чуткой и отзывчивой Варвары Николаевны, этой титулованной идейной демократки, невпример тем «именитым» представителям московского купечества, к которым я позднее обращался, уходя от них с тяжелым чувством оскорбленного «просителя».

---

Изложенные выше о графине В.Н. Бобринской и отношения ее к моему Музею и ко мне имело целью оттенить тот нравственный уклад, который окружал юные годы Николая Алексеевича и предопределял в широкой мере всю его последующую жизнь.

И возвращаясь к абрису последней, не могу не сделать небольшого предваряющего отступления.

Оглядывая общим взглядом личности фаунистов-системетиков всех наций, можно без труда распределить их по двум следующим категориям. — Одни — при том в громаднейшем их большинстве сложились, выросли на базе природного влечения к «вещам», т.е. к телам природы, к их подбору, собиранию, систематизации, хранению.

Это — фаунисты-систематики, реже анатомы — **с музейным** складом, или направлением ума и глаза. Именно таким природным «музеологом» был некогда «отец» научной систематики — **Линней**<sup>1</sup>; таким же фанатическим «вещевиком» был основатель «Гунтеровского Музея» в Лондоне — **Джон Гунтер** физиолог и анатом, энтузиаст по собиранию спиртовых анатомических объектов.

Но при всем различии предметов собирания, одна черта объединяет всех ученых «музеологического» типа, именно «**Прозелитизм**», явная склонность к популяризации науки.

Но имеется другая категория биологов, в различной мере чуждых музеологическим склонностям, ученых, для которых «коллектирование» лишь средство получения объектов, нужных для научного исследования и теряющих всю ценность после завершения последнего.

Таким «анти-музейцем» был когда-то знаменитый «Генеральный агент Дарвинизма» — **Томас Генри Хаксли**, никогда не проходивший музеологического стажа.<sup>2</sup>

И, однако, невпример громаднейшему большинству натуралистов «не-Музейцев» **Томас Хаксли**, как известно, был одним из величайших популяризаторов науки, видевший в широкой демократизации ее — важнейшую задачу его времени.

Но именно, к такой же категории биологов, не проходивших «музеологического» увлечения должно отнести и **Николая Алексеевича Бобринского**, хотя и занимавшего эпизодически места «заведующего» туркестанского и Среднеазиатского музеев, но сумевшего так ярко проявить себя не помощью «музейного показа», а прекрасным языком и содержанием своих чудесных книг.

---

<sup>1</sup> не даром, на основе материального «коллекционного» наследия **Линнея** создалось в столице Англии «Линнеевское Общество.»

<sup>2</sup> Что тем поразительнее, что при своих классических исследованиях **Хаксли** был «фанатиком-вещевиком», старавшимся в своих работах опираться лишь о факты, установленные им самим!

Быть может, в глубине своих влечений **Бобринский** не чужд был интереса к обладанию «вещью» (без чего не мыслимо призвание фауниста-систематика), но той великой страсти к обладанию «музейными объектами», которая нередко заслоняет самый смысл их собирания, определенно не было у Николая Алексеевича.

Этим отсутствием у **Бобринского** «Музейного стяжательства» отчасти объясняется и то, как просто и легко он расставался со своими ценными трофеями для передачи их моему Музею, хотя, конечно, здесь решающим являлось его любящее отношение ко мне.

Невольно вспоминается, как в первое же мое посещение Николая Алексеевича на квартире его матери, «графского дома» наводненного впервые ящиками с птицами, как при осмотре их не воздержался я от восхищения при виде белоснежной крупной цапли с его чудным «брачным оперением» и как Николай Алексеевич мне тут же подарил ее для моего Музея.

Сходным образом и остальные результаты сборов **Бобринского** им привезенные с его тогдашней первой орнитологической исследовательской поездки в Закавказье в 1911-12 годах, впоследствии перебрались всецело в Дарвиновский Музей, ставши одним из его ценных украшений.

Обращаясь к рассмотрению печатных трудов Николая Алексеевича, мы всего менее должны иметь здесь ввиду разбор или оценку его собственно-исследовательских работ.

Затерянные среди научных и академических журналов, все эти работы, посвященные по преимуществу вопросам систематики или распространению млекопитающих и птиц, эти исследования разделят рано или поздно, общую судьбу всех им подобных: потонут в бездонных недрах и анналах соответствующих дисциплин.

Неизмеримо большее значение для характеристики Николая Алексеевича, как ученого, имеют те его печатные труды, для создания которых специальные его научные работы были в роли «маточных растворов», на которых кристаллизировались его книги получившие столь широкое распространение.

И здесь, на первом месте следует поставить его книгу, столь не притязательную по заглавию, но занявшую столь выдающееся место в наши дни: «**Определитель млекопитающих**».

Можно с полной уверенностью утверждать, что «Русский Зверь» настолько же обязан Н.А. **Бобринскому** в деле познания его, как «Птица Русская» трудам профессора М.А. **Мензбира** и это несмотря на многотомные труды **Огнева**.<sup>3</sup>

Но, как 40-томный «Каталог Британского Музея» беспредметен в сущности для рядовых ученых Англии; как полупудовые оба тома **Фюрбрингера** — вне пользования массовым зоологам Германии, так и солидный многотомный (и к тому же незаконченный) «Труд-Левиафан» профессора **Огнева** был и останется лишь достоянием крупных библиотек и тем самым большей частью за пределами пользования русским рядовым натуралистом.

Более того. Располагая исключительно обширными коллекциями по некоторым отрядам по млекопитающим, именно Дарвиновский Музей гораздо чаще пользуется инструктивной книгой **Бобринского**, располагавшего при написании ее, очевидно, большим временем для избегания многословия.

Но дело, разумеется, не только в сжатости, рельефности самого стиля изложения в книге **Бобринского**. На любой странице, на любой строке, при каждом частном описании вы чувствуете личный **вещный**, а не **книжный** опыт автора, дающий полную возможность опустить все лишнее, не абсолютно требуемое для понимания. А там, где, как при описании некоторых локальных форм характеристики их более слабые, это всецело объясняется малой изученностью их.

---

<sup>3</sup> Не имея ни малейшего намерения отрицать значение и роли в деле изучения млекопитающих нашей страны печатного наследия покойного Сергея Ивановича, невозможно все же, помятуя хорошо известный афоризм «Наш долг по отношению к умершим тот же, что по отношению к живым: **правдивость!**», — не признать, что многотомный труд **Огнева** перегружен массой неоправданного материала.

Опуская множество убийственных анатомических деталей, полное недоумение вызывает увлечение автора голыми цифрами.

Импонируя лишь диллетантам своей мнимой точностью, все эти цифровые данные — сотни цифровых таблиц и тысячи измерений могли бы быть оправданы лишь при условии их перевода на «Кривые» или Диаграммы, что доступно только автору, проделавшему измерения.

Особенно отметить надо, что в отличие от орнитологов, которые при создании «Определителей» практически их сводят к диагнозам «клюва, ног и оперения», определитель по млекопитающим немалым без достаточного приведения анатомических, скелетных, всего чаще краниологических деталей.

Величайшее призвание заслуживает приведение рисунков черепов от близких форм бок-о-бок, **рядом**, в целях облегчения сравнения, а не на разных, хотя бы смежных страницах, как то практикуется обычно при формальном отношении автора к даваемым иллюстрациям.

Короче, в самом редактировании книги (тем же Н.А. **Бобринским**) вы чувствуете все время, что сам автор и редактор книги при писании и издании ее смотрел глазами будущих читателей, считаясь с их реальными практическими интересами, а не с абстрактным и воображаемым лишь потребителем.

Признавая, таким образом, огромную академическую значимость труда профессора С.И. **Огнева**, должно, к сожалению, признать, что при писании его он не учитывал достаточно ни подлинных практических запросов, сил, возможностей своих читателей, ни возраста и жизненных ресурсов самого себя.

Отсюда преждевременная его смерть и незаконченность труда. Отсюда же неизмеримо большее распространение и эффективность книги **Бобринского**, исходившего не из «академических» абстрактных требований полноты, а из реальных требований жизни и своих читателей: в конкретной сжатой форме (без ущерба для необходимой полноты!) раскрыть для русского натуралиста мир четвероногих обитателей нашей обширной Родины, обширный мир, дотоле полускрытый из-за игнорирования его русскими учеными.

В этой умелости, не только авторской, но и издательской (редакторской), присущей Николаю Алексеевичу, сказывается его громадный опыт, как профессора и лектора, умело закрепившего свой лекционный опыт в капитальных двух трудах, в обширном «Курсе Зоологии» и «Курсе Зоогеографии» для Высшей Школы.

Не входя в разбор или оценку этих монументальных двух трудов, из коих первый был переведен на языки узбекский, чешский, украинский и армянский (1954), а второй на сербский (1966), китайский (1954) и румынский (1953), обратился к рассмотрению, увы! лишь беглому, за недостатком времени и места — самой замечательной и самобытной книги **Бобринского**, одинаково непревзойденной по идее, содержанию и форме: мы имеем здесь ввиду его «Животный мир и природа СССР».

Непревзойденность этого труда легко понять, если учесть, что, как природа нашей Родины по широте, богатству и многогранности единственная в мире, так единственна она по красоте богатству нашего родного языка — языка **Чехова, Тургенева, Толстого и Аксакова**.

Достаточно вообразить, что небольшие поэтические очерки родной природы, некогда набросанные стареющей рукой Аксакова, этого «русского Бюффона прошлого столетия», что скромные чудесные эскизы, нам оставленные на закате жизни этого проникновенного любителя природы, но, увы! натуралиста-диллетанта, описания, приуроченные к крошечному уголку родного Приуралья, что они охватят всю шестую часть земного шара и нашли певца, не уступающего нашему «Российскому Бюффону» ни в любви к родной природе, ни в чудесном нашем языке, но привносящего к этим двум дарам глубокие познания ученого-зоолога — и вы поймете всю неповторимость этой книги Николая Алексеевича **Бобринского**.

Пусть не мало в этой книге выдержек из сочинений разных русских авторов, бывавших в местностях не посещенных Бобринским (а побывать во **всех** районах, им описанных, конечно не под-силу никому), но там, где автор книги лично побывал, а этих мест не мало: от таежных дебрей, островных лесов, до полынков степи, золота песков и до заоблачных массивов Бухары, или Кавказа, — описания природы могут поспорить с нашими лучшими певцами степи и лесов полесья — **Чеховым** или **Тургеневым**!

Прочтите описание тайги и ее хмурой, замурованной природой, прочитайте солнечные описания природы степи и пустынь, и если Вас не зачарует, не захватит скромный, но чудесный пафос этих описаний, как они набросаны рукою Бобринского, — знайте: Вы лишились многого, как патриот своей страны!

Но признавая даже, что имеются и ныне систематики-фаунисты и зоогеографы, не уступающие Бобринскому в эрудиции, по трудолюбию, по красочному описанию природы, ложно утверждать, что скромная по виду и названию книга Николая Алексеевича навсегда останется неповторимой подлинной **поэмой**, порожденной редким сочетанием дарований ее автора: крупнейшего ученого и знатока природы, почитателя родного языка и пламенного патриота.

И, заканчивая настоящий беглый очерк, посвященный ныне здравствующему Николаю Алексеевичу, не могу, хотя бы мельком, не коснуться его жизни в свете заключительного слова.

Здесь достаточно напомнить два характернейших эпизода. Первая война империалистическая. Вместе с младшим братом, Александром, героически погибшим, как уже было сказано, офицером-пехотинцем в первом же бою с германцами и также добровольцем, поступает в действующую армию и Николай Алексеевич.

При связях его матери, графини Бобринской с тогдашними высокими военными кругами, было бы нетрудно Николаю Алексеевичу «пристроиться» в одном из штабов Армии в тылу.

Но ни графиня, ни сам Бобринский, конечно, не воспользовались этим.

И немногими неделями позднее мы увидели бы Николая Алексеевича, командующим отделением пехоты на австрийском фронте.

Управляя направлением огня, в разгаре боя **Бобринский** был ранен, чуть ли не в упор, пулей навывлет, пронзившей всю брюшную полость, лишь едва минуя позвоночник.

Ранение глубокое, но, к счастью, оказавшееся излечимым «феноменальный» случай, по заверению врачей.

Проходит четверть века. Наступают годы величайших испытаний нашей Родины: Великая Отечественная война.

Дважды просится Николай Алексеевич на фронт. Но, как уже пожилого возраста (за 50 лет) и не имеющий достаточного чина, получает он отказ.

Невольно вспоминается, как на вопрос, тогда же мною обращенный, не подлежит ли он, подобно большинству профессоров эвакуации, Бобринский мне конфедичиально сообщил, что с ближайшей же станции он умудрился бы вернуться, чтобы защищать Москву.

По счастью, защищать столицу Бобринскому довелось иным путем, дежуря по ночам на крыше университета, защищая его от ночных бомбежек.

Приведенные здесь эпизоды только поясняют, что при всем своем «аполитизме» Бобринский был пламенным патриотом.

Но, конечно, при всеобщем массовом народном героизме того времени, говорить о проявлении его отдельным патриотом много не приходится.

Да будет мне позволено поэтому закончить мою бледную характеристику Николая Алексеевича, как человека, эпизодом более значительным.

Только с трудом преодолевая чувство деликатности, решаюсь я припомнить одно горестное происшествие в семействе **Бобринского**: случай преждевременной кончины старшего сына, мальчика 12 лет, погибшего от тяжелых поражений им полученный при соскакивании с трамвая до его полной остановки.

По единоличной ли неосторожности самого мальчика, или от полученного им толчка, но не по недосмотру вагонновожатого, мальчик, умирая на руках отца, просил его не сразу говорить об этом матери, а подготовить ее через третьих лиц.

Но еще трогательнее слова отца, им обращенные к умирающему сыну, при расставании с ним: «Ты, Алеша, хорошо, ты правильно поступил, выгораживая вагонновожатого! Он мог бы пострадать на службе!»

В этом прощальном слове, обращенном к умирающему сыну, мне, как будто, чудится далекий голос матери Николая Алексеевича, графини Варвары Николаевны — **ее любви и уважения к «простому человеку»**.

---

Таковы немногие страницы жизни Николая Алексеевича **Бобринского**, которые мне напреслились в слово.

И, заканчивая это слово, я могу только сказать, как радостно мне было, в меру моих сил, исполнить желание его супруги <sup>4</sup> — поделиться отзывом о ее муже, как ученом и как человеке, — авторе чудесных книг и еще более чудесной жизни.

Основатель (1896) и Директор Дарвиновского Музея в Москве

Доктор биологических наук

«Отличник Здравоохранения СССР»

(профессор А.Ф. Котс)

---

<sup>4</sup> Марии Алексеевны **Бобринской** (урожд. Челищевой), так бесконечно терпеливо и покорно перенесшей столько горестных утрат, так бодро и безропотно умевшей разделить все трудности, отчасти связанные с тяжелыми недомоганиями мужа, и так совершенно вжившейся в его служение науки и ее распространению, с той преданностью, с тем самозабвением, что свойственно лишь русской женщине высокой умственной и нравственной культуры.